



Д.В.Иванов. 1997 г. Рим.

— Как Вячеслав Иванов оказался в Риме? И каков был ваш путь из России в эмиграцию? Вы ведь родились в России?

— Для моего отца Рим — одно из торжественных мест в его жизни, куда он постоянно возвращался.

Я родился в июле 1912 года в местечке Невселе, на французском берегу Женевского озера. Когда мне было несколько месяцев, мы поехали в Рим. Потом, когда мне было год-полтора, отец вернулся в Москву, и там мы прожили до 1920 года.

У меня немногие, но довольно яркие воспоминания об этом времени: стрельба во время революции, обыски, переполненные трамваи, которые меня приводили в ужас, когда мы с мамой в них вскарабкивались.

В 1920 году моя мама, Вера Константиновна, умерла, и отец понял, что он не может больше оставаться в Москве. До этого он тщетно просил визу в Италию и надеялся, что жизнь в Риме дала бы возможность маме, у которой была тяжелая форма туберкулеза, вылечиться. Но в последнюю минуту в визе было отказано, и через несколько недель после этого она скончалась.

Отцу предложили уехать на Кавказ, и мы отправились в Кисловодск, потом нас эвакуировали в Баку, где Вячеславу Иванову предложили кафедру в недавно созданном университете; мы оставались там в течение четырех лет. Мне нравился Баку, жизнь в восточном городе. Торжественно проходили через улицы верблюды и корчильщики надменные гримасы. Замечательный сухой каменный пейзаж морского побережья, где мы проводили лето, моему отцу, сестре Лидии и мне очень полюбился.

В 1924 году (мне было 12 лет) совершенно неожиданно была получена виза, о которой мечтал Вячеслав Иванов, и мы снова поехали в Рим — через Ригу, Мюнхен, Венецию и Флоренцию. Поводом было посещение советского павильона на Биеннале — международной художественной выставке в Венеции, но отец не скрывал, что он потом поедет в Рим — и навсегда. «Я еду умирать в Рим», — говорил он, что не означало, что он хочет сразу умереть, а значило, что Рим — последняя «скитаний пристань». Отправился он в Рим, а не в Париж или Берлин потому, что был связан с Римом с ранних лет — в первый раз он туда попал, когда ему не было еще тридцати. Кроме того, ему не хотелось ехать в одну из столиц русской диаспоры, русской эмиграции.

— А почему — вы не знаете причин?

— Я думаю, что он никогда себя не чувствовал эмигрантом, хотя и провел более половины жизни за рубежом. У него было очень сильное чувство единства культуры, и он себя не чувствовал чужим человеком в античном Риме; так же, как не чувствовал себя чужим в Германии — он знал прекрасно немецкий язык, немецкую поэзию. С Францией он тоже был связан.

У него никогда не было ностальгии по русскому фольклору, по куличам, по крашеным яйцам и так далее, хотя он очень любил и борщ, и пирожки. И поэтому, я думаю, он боялся ехать в город, где подчас искусственно восстанавливалась какая-то далекая Россия.

— Что это — попытка порвать с русским бытом?

— Нет, скорее нежелание находить его в искусственных рамках Парижа...

— А как строились ваши отношения с отцом?

Вячеслав Иванов и Рим

Беседа протоиерея Иоанна СВИРИДОВА с Дмитрием Вячеславовичем ИВАНОВЫМ

23 мая в Доме Чюрлениса в Москве прошла презентация книги, в которую вошли интервью трех французских журналистов с Жаном Невселем, он же — Дмитрий Вячеславович Иванов.

Книга пока не переведена на русский язык, но ее представление в России призвано познакомить

нас не только с журналистским опытом Д.Иванова, но и с его личностью — человека, тесно связанного с русской культурой за рубежом. Во время своего пребывания в Москве Дмитрий Вячеславович дал интервью «Церковно-общественному вестнику».

— У нас была дружба с самого раннего возраста. Одно из моих самых первых впечатлений в Москве, когда мне было года четыре: я захожу в квартиру на Зубовском бульваре в два часа дня, может быть, с прогулки, и мне говорят: «Тсс, папа спит!» Днем папа спит — это мне казалось нормальным, потому что папа ночью работал, писал стихи. Как-то раз я захожу в квартиру, папа стоит посреди комнаты, с кем-то разговаривает. Я обнимаю его ноги (доходил ему до колен, наверное), смотрю ему в глаза и говорю: «Все прошло далеким сном». Он очень удивился: «Что?» Он запомнил эту фразу и в ту же ночь написал стихотворение, которое начиналось строкой, откуда-то зававшей в мою детскую голову, словами о далеком сне. Так что между мальчиком четырех-пяти лет и его отцом, которому было много больше, существовала связь; не было младенца, который что-то лепечет, и взрослого папы.

Так же я помню, как в той же квартире еще до революции разговаривают Вячеслав Иванов и, я думаю, Михаил Осипович Гершензон; может быть, и Шестов. Одним словом, какие-то важные старые люди сидят, пьют чай — помню стаканы и сахар, который медленно тает в темном, вкусно пахнущем чае. Я слушаю, конечно, ничего не понимаю, но не хочу уходить.

— Существовал ли какой-то особенный план вашего образования, продуманный вашим отцом?

— Вот одно из моих воспоминаний: я карабкаюсь на колени отца и приветствую его как Царя Барана, потому что дома он называл себя Царем Бараном с золотыми рогами. Шла постоянная игра, он любил мифы и входил в эту игру. Игра продолжалась между ним и мною, так же, кстати, как и Лидией, которая была много старше меня — так что не знаю, был ли план, но была общая игра и общее, как мне казалось, во всяком случае, отношение к внешней жизни. Может быть, это приводило к некоторой замкнутости по отношению к другим людям, не включенным в игру и не знавшим, что отец — Царь Баран, что у него золотые рога.

Что касается планов воспитания со стороны моего отца, я не знаю: он, во всяком случае, мне о них не говорил. Но в Баку, когда мне было уже 12-13 лет, я ходил в школу и был прескверным учеником: опаздывал, делал ошибки, сажал кляксы и т.д. Александр Сергеевич (так звали моего учителя) вызывал сестру Лидию и упрекал ее в том, что, ну как же, «сын профессора, и так себя плохо ведет в школе». Отец, наверное, думал (это моя гипотеза), что, живя в семье, прислушиваясь к разговорам (а не слушая я не мог, потому что все жили в одной комнате), я, наверное, больше учился, чем в школе, которая была скучновата. Дома я много и по собственному выбору читал Майн Рида и чуть ли не всего Достоевского. Отец относился к сыну так же, как сын к нему — как к товарищу, который сам что-то найдет, слушая то, что говорит старший.

— Когда вы сами почувствовали, что религиозная жизнь, встреча с Церковью, имеют какое-то значение для человека?

— Мне кажется, что не было момента, когда такой встречи не было.

— С чего это начиналось? С разговоров с отцом или независимо от этого?

— Я думаю, не столько с разговоров с отцом, сколько с примера отца. Мне кажется, что какой-то религиозный элемент в жизни и в приближении к жизненным происшествиям всегда был и у отца, и у меня.

— Но как можно охарактеризовать этот тип религиозности отца? Есть такие упрощенные определения: рассудочная религиозность, религия сердца, религия быта, религия, как бы смешанная и совмещенная с культурным возрастом.

— Мне кажется, я перенял от отца чувство, что все творение пронизано божественным лучом. Это отнюдь не панте-

изм, а некий внутренний опыт открытости твари к Логосу. Такие высокие слова проходили, конечно, «поверх моей головы». Но их смысл как-то постигался мною, когда я наблюдал, с какой, я бы сказал, литургической бережностью отец относился к самым простым предметам обихода: хлебу, вину, воде... Но, пожалуйста, не подумайте, что в доме царила какая-то торжественность и чопорность, все было просто и весело, все было игрой.

Я чувствовал волнение, с которым отец, глубоко верующий христианин, говорил о Христе, именно о личности Его, о Евангелии, о том, что Христос говорит апостолам. Я помню, волнение отца передавалось и мне. В Риме мы ходили в православную церковь, которая находилась не на Виа Палестро, как сейчас, а на Пьяцца Кавур.

В Риме была маленькая русская колония, все друг друга знали. И вот этот момент клубности, который иногда свойственен зарубежным приходам, сильно мешал, тем более, что нас приняли в штаны: мы не были, как большинство русских эмигрантов, дореволюционными невозвращенцами. Настоятель церкви архимандрит Симеон, замечательный и культурный человек, приходил в гости, дружил с Вячеславом Ивановым, они беседовали и спорили на богословские темы.

Но, в общем, церковную жизнь я наблюдал скорее в римских католических церквях, которые всегда были открыты, и было какое-то чувство постоянной связи между нормальной жизнью (трамваи, автобусы, школа) и церковью. В Риме много церквей, играл орган, люди забегали, заходили на пять-десять минут. Воскресная месса длилась полчаса, так что все это было как-то внутренне связано с повседневной жизнью.

— Как произошел переход вашего отца в католичество — в какой момент, в каком году? Как созрела эта идея — только ли из-за неприятия римской эмигрантской «клубности»?

— Нет, конечно... Да и в Риме много членов «клуба» стали нашими добрыми друзьями.

О единстве Церкви и о долге признать это единство Вячеслав Иванов размышлял, еще беседуя с Вл. Соловьевым, которого глубоко почитал. Приехав в Рим в 1924 году, он был поражен казавшимся неизлечимым кризисом, который по-разному угрожал в России и на Западе духовной жизни человека. И тогда — так он пишет своему французскому другу Шарлю Дю Босу — «в атмосфере какой-то духовной тупости буржуазного мира, противоположного и в то же время, по какому-то дьявольскому контрапункту, созвучно революционному неистовству, властно раздался из глубины души мой зов знакомый, постоянно повторяющийся с молодых лет, когда началось мое духовное общение с большим и святым человеком, каким был Вл. Соловьев, медленно, но неуклонно ведущим меня к соединению с Католической Церковью...».

— Но с внешней стороны это можно понять как нежелание быть солидарным со своей страной.

— И на это он отвечает в письме к Дю Босу: «Остаться во имя братской солидарности и верности страдающей Матери-Церкви среди разбредшего стада, которое бродит вокруг своей родной овчарни, избегая ее по причине векового недоверия — недоверия, некогда внушенного народу-ребенку его дурными пастырями, врагами теократического соединения, — такое решение не представлялось мне благочестивым и мудрым».

Акт соединения, в марте 1926 года, прошел самым простым и неприметным образом. Перед о.Владимиром Абрикосовым, русским католическим священником, Вяч. Иванов прочел не обыкновенное заявление о присоединении, а соловьевскую формулу:

«Как член истинной и досточтимой православной восточной или Греко-Российской Церкви, говорящей не устами антиканонического синода и не через по-

средство чиновников светской власти, но голосом великих Отцов и Учителей, я признаю верховным судьей в деле религии того, кого признавали таковым св. Ириней, св. Дионисий Великий, св. Афанасий Великий, св. Иоанн Златоуст, св. Кирилл, св. Флавиан, блж. Феодорит, св. Максим Исповедник, св. Феодор Студит, св. Игнатий (св. мученик Вячеслав) и т. д., а именно апостола Петра, живущего в своих преемниках и не напрасно слышавшего слова: «Ты Петр, и на этом камне Я создам церковь Свою. — Утверди братьев твоих. — Паси овец Моих, паси агнцев Моих.» — Аминь. Признаю все догматы и все определения Римской Церкви, и в этой истинной вере, которую свободно исповедую, с помощью Божией останусь до конца своей жизни. Да будет так».

Римская церковь — это на «Камне»-Петре созданная Христом Церковь. Это не латинская, не Западная, а Единая Церковь, питаемая своими двумя равноценными духовнымикладами, западным и восточным.

Рукописное заявление Вячеслава Иванова находится в Конгрегации Восточных церквей. Оно опубликовано Андреем Шишкиным в «Российско-итальянском архиве».

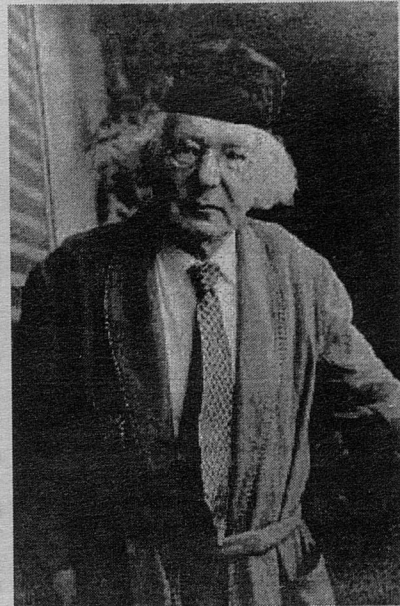
После чтения этого заявления священник и Вяч. Иванов спустились в крипту близ гробницы апостола Петра, и о.Владимир совершил обедню по восточному церковнославянскому обряду.

Моя сестра Лидия присутствовала при этом. Меня же отец не оповестил, он боялся как-то на меня повлиять, куда-то повести, куда Провидение меня, быть может, не вело, куда я сам не шел. Акт присоединения — «дело личной души с Церковью». Так объяснял он моей сестре решение не присутствовать при моем «переходе» в декабре 1927 г.

— Можно размышлять над способом восстановления личного отношения к вхождению в единую Церковь. Соловьев, например, действительно перешел в католичество или все же нет? Известно, правда, что он причащался в Римской Церкви...

— Историки спорят...

— Перехода, может быть, не было, но было ощущение того, что ты находишься, пребываешь в Православной Церкви и одновременно являешься членом или клириком Католической Церкви, когда не требуется перехода из конфессии в конфессию. Эта идея созрела уже до Соловьева, например, она сформулирована Хомяковым: Церкви, отдаленные друг от друга как омертвевшие члены, отрубленные от единства Церкви, — драма, которую остро чувствовали в 1910-е, 20-е, 30-е годы одновременно и католические, и православные богословы. Можно вспомнить замечательную книгу о христианском воссоединении (1933) с текстами Булгакова и Бердяева, Франка и греческих богословов. В Евангелии же сказано самим Христом: «Аще двое или трое соберутся во имя Мое, Я посреди них». Две части, которые катастрофически и парадоксально составляют одну Церковь, в то же время, взаимно анафематствуя друг друга, прерывают это единство. Но это временный, не онтологический разрыв, потому что Церковь по существу одна. Анафематствуя друг друга, они тем самым анафематствуют две екслезисологические структуры в Единой Церкви, которые на следующем этапе как раз и должны быть соединены.



Вяч.Иванов. 1940 г. Рим.

Публикуется впервые.

— Ну конечно, это само собой разумеется.

— Апостольского преемства, конечно, никто не отрицает, оно есть и в той, и в другой Церкви. Но нужен ли формальный переход, или он был необходим именно в то время? Может быть, до Второго Ватиканского Собора у Римской Церкви были более жесткие позиции в отношении признания членом других конфессий действительными членами Церкви?

— Я думаю, отец подписался бы под каждым вашим словом; все это совершенно так, и он настаивает на том, что нет Церкви без таинства и что таинство то же на Западе и на Востоке.

Но это не означает, однако, что следует исключать из поля духовного зрения церковь как институцию. Церковь живет в людях, в иерархической структуре, во внешнем исповедании. Жизнь религиозно в некотором смысле сверх внешней организации дано неким избранным по особой благодати. И, конечно, не требуется никакого «перехода» от тех, кого питает вера в мистическое единство Церкви.

Вяч. Иванов считал, что пришло время подвести итоги. Я думаю, что было также осознание того, что поэт некоторым образом — тихо или громко — выражает невыявленную волю народа. Пришло время на своем личном примере осуществить акт объединения, снова вступить на путь к единству. Ему было важно не только внутреннее чувство единства, но и фактический возврат к Церкви, возглавляемой Петром.

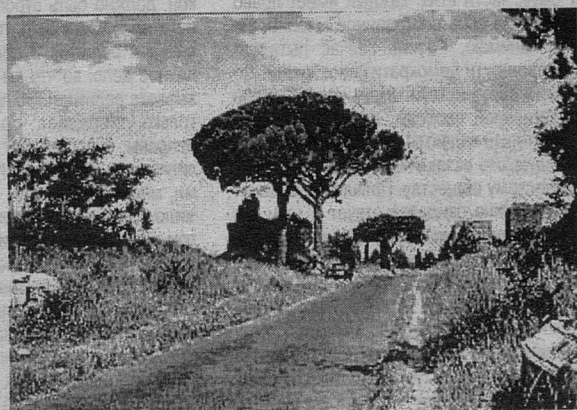
Возможно, что сегодня, в 1997 году, обстоятельства изменились и существуют разные этапы в исповедании единой Церкви. Первое условие — так учил меня в своих письмах отец — это укоренение души в церковной жизни; для православных — в православной.

— Что бы сказал Вячеслав Иванов, если бы застал «Второй Ватикан»?

— Конечно, Ватиканский собор его бы очень обрадовал, и, конечно, многое он (то, что касается отношений между Западом и Востоком) как-то предвидел и претворил в своем личном религиозном опыте.

— У вас ведь тоже был свой опыт перехода в католичество. Вы говорите, что отец скрыл от вас свой переход...

— У меня было отношение другое, не было долгих богословских размышлений, какие были у Вячеслава Иванова. У меня был опыт мальчика, который хотел развивать религиозную жизнь. Я не хотел быть изолированным, вокруг меня были люди, была страна, которая как-то религиозно



Древнеримская Аппиева дорога.